

Вера ЗУБАРЕВА

Филадельфия, США

Не знаю вечность или лишь
 мне предметом зодчим по свету,
 за тот или же вечность эту
 равно благодарю я мир.
 Чтоб не случилось не знаю,
 а лишь благославлю лёгкость,
 Маей концы тишины,
 твоей когдашней лёгкости.

Вера Ахмадулина



Единственность

Памяти Беллы Ахмадулиной

*Нет, я ценю единственность предмета,
 вы знаете, о чем веду я речь.*

Белла Ахмадулина**29 ноября**

Вто утро я проснулась с ощущением, что случилось непоправимое. Когда это чувство накатывает, то вернее его нет ничего. Кто ушёл? В доме тихо, солнце играет на стене, отражаясь от зеркала. Прислушиваюсь к струнам, по которым пришла весть. Струны оборваны и уже никого ни с кем не связывают. Минута молчания.

Затем включаю телевизор.

«Она есть и будет», – так должны были бы передать эту весть. Но не передали. И это стало подтекстом. Теперь уже навечно.

День двенадцатый

Её жизнь прошла под знаком единственности, которая сманила меня в свою запретную зону много лет назад, когда я была ещё студенткой первого курса Одесского государственного университета. Хотелось читать только её и писать только о ней, и я отправлялась в «горьковку», как мы называли библиотеку им. Горького, чтобы вновь «услышать»: «Нет, я ценю единственность предмета, / вы знаете, о чём

веду я речь...» Это «вы знаете», столь многозначительно завершающее строфу, немедленно выстраивало весь подтекст отношений читателя, писателя, цензора и времени. Для поколения, которое втайне читало «Мы» Замятина, подобные мысли о единственности на страницах советских сборников, прямо или косвенно воспевавших коллективизм, были откровением. Невольно думалось: «А понимал ли цензор, когда пропустил такое?»

Об этом нельзя было писать в курсовой, но можно было размышлять. Толчком к размышлениям всегда были лекции одного из интереснейших и крамольных профессоров бывшего ОГУ Степана Петровича Ильёва. Он был первым и чуть ли не единственным, кто утверждал, что поэма «12» Блока была контрреволюционной. Сегодня его памяти посвящена ежегодная международная конференция по Серебряному веку в Одессе. Но в то время его докторская стояла под большим вопросом, как и всё, что он делал. На его семинар по русскому символизму трудно было попасть, но кому посчастливилось, тот открывал для себя целый мир философских значений и серьёзнейших смыслов за образами прекрасных дам, вздымающихся страусиных перьев и всего, что простой читатель воспринимал как «красивость». Благодаря его семинарам мне и открылась вселенная единственности Ахмадулиной во всей её крамольной для того времени глубине.

Тот, кто наивно полагал, что всё отличие поэзии Ахмадулиной от других в витиеватом, как многие считали, стиле, просто не умел посмотреть в корень того, что она делала. Стиль, с которым она была рождена и по которому её сразу же узнавали даже и дилетанты, был далеко не декоративностью. «Старинный слог» («Влечет меня старинный слог. / Есть обаянье в древней речи») свидетельствовал об иной глубине. Это был язык, на котором она обращалась к миру, созданному волей Творца, чей образ подспудно выстраивал метафорическое пространство её поэзии. Следы мифа о сотворении можно обнаружить уже в названиях некоторых её стихотворений. Например, стихотворение «День: 12 марта 1981 года». Ну кто же так называет стихи, словно календарь составляет? Критика объясняла, что, мол, это Ахмадулина о природе пишет, в то время как она сама утверждала в другом стихотворении: «Я никуда не выходила. / Я просто написала так: Я вышла в сад...»

Вчитываясь в стихи «День: 12 марта...», вдруг понимаешь, что название их не о дате, точнее, не просто о дате. Дата в её Саду – это уникальное имя дня, единственного в своём роде. Единственность – признак Божественного Сотворения, отличного по сути от бездушного механизма, штампующего свою продукцию. И не случайно существительное «День» пишется в стихотворении с заглавной буквы, словно подчеркивая его тайную близость к Творцу. А в конце она почти прямо пишет об этом родстве Дня и Творца: «И Божий День – всезнающ и всевидящ». Ясно, от кого достались Дню гены всезнания и всевидения... Даже система названия дня у неё почти библейская: День двенадцатый... Только к этому ещё прибавляется месяц и год, словно после седьмого дня дальнейший отсчёт времени берёт на себя поэт, хранящий таинство древней речи-творительницы. Речи, которая именно в силу своей связи с исконным Словом «бывает наших слов / и современнее и резче».

День двенадцатый в его различных проявлениях неотступно следовал за мной и манил загадкой следующего Дня, тринадцатого. Перелистывались страницы, перечитывались строки, росла мечта о встрече. И, наконец, когда ничего уже нельзя было остановить, когда жёлтый междугородный справочник услужливо открылся на той самой странице с заветным номером телефона – тогда вдруг поднялась трубка на том конце и её голос ответил:

– Слушаю.

Вот и всё. Этого следовало ожидать. Что же теперь? Когда тебя слушают, нужно говорить. Я говорю. Получается какой-то шелест, как листья в саду. Она немедленно понимает. Оказывается, это и есть

знак единственности, пароль, по которому можно попасть в Сад. «Я вышла в сад...» Называю своё имя. Представляюсь кое-как. Полное отсутствие знакомых. Что она подумает?

Сад шелестит в ответ какой-то звенящей листвою.

*Есть тайна у меня
От чудного цветенья...*

Я вслушиваюсь, боясь пропустить что-то важное. Нужно запомнить всё-всё, ведь это больше не повторится.

Либо её голос звучит глуше, либо волнение приглушает слух.

– Верочка, приезжайте!

Это не ко мне. Там, наверное, какая-то другая Верочка, московская знакомая или родственница, которая в это же самое время звонит по какому-то другому телефону, которого нет в справочнике.

– Приезжайте! – повторяет она, ещё не читая стихов и не зная обо мне ничего, что вне интереса Сада.

В трубке гудит, как при взлёте.

День тринадцатый

...К ней можно было только по небу. Ну что ж... Кучевые кроны остались внизу вместе с Чёрным морем. Мы летели, летели, летели... Я летела с первой минуты её приглашения, а мой муж присоединился ко мне уже в самолёте.

На следующий день я стояла на пороге мастерской Бориса Мессерера, той самой, на Поварской, двадцать...

*Был дом на Поварской
(теперь зовут иначе)...*

Это было теплей и искренней, чем я себе представляла.

...За окном – ливень, капли медленно скатываются по лбу и щекам. Почти как в её «Сказке о дожде», и на ум сразу приходит: «Дождь, как крыло, прирос к моей спине». Это же приходит и ей на ум – ясно без слов. Она улыбается и приглашает меня в комнату. Там – стол длинный с креслами, и все разные.

– Присаживайтесь, – указывает она на кресла с какой-то озорной улыбкой.

«Наверное, я нелепо выгляжу», – думаю, хватаясь за приглянувшееся кресло, чтобы поскорее с ним слиться. Всё в дожде. Она по-прежнему улыбается, ставит чайник на плиту, чтобы согреть дождь. У меня в руках цветы из Сада (Господи, совсем забыла!).

Она берёт цветы, ставит в вазу, и мы говорим о Саде, о цветах, о Цветаевой...

– Семнадцатый год пришёл как убийца и наследил на столетие вперёд. Моя бабушка, между прочим, была революционеркой, но потом розовые очки упали и разбились вдребезги. Очки – полбеда. А вот осколки людей и культуры уже не собрать. И дело не в том или не только в том, какая политика или какая партия у власти, а в том, что есть «елабуга» – слепая старуха, я пишу её с маленькой буквы в стихах, чтобы не задеть ни в чём не повинных жителей. Она ходит и душит, душит всё лучшее, без чего земле не выжить, вот так, – она жестом перехватывает горло, волшебная флейта которого всегда выпевала стихи. От этого присутствие елабуги становится ощутимей. – Они и Бродского хотели порешить этой своей елабугой, да только ничего у них не вышло. Они весь пласт культуры хотят порешить, оторвать от корней, чтобы потом проще было вырвать с корнем тот дух, светлый разум, без которого нет ни нации, ни народа. А весь этот генетический слом? А отсутствие грамотности души, которую непременно хотят засунуть в потёмки «советской власти плюс электрификации»?.. Вы ведь понимаете, о чём я толкую? Как же потом всё это восстанавливать? А восстанавливать придётся, настанет время! – Она выразительно смотрит на меня, чуть наклонив голову, и добавляет. – Время-то настанет, а вот как оно повернётся к нам за всё это оголтелое опустошение собственного поля?.. У Бродского был единственный выход сохранить себя – уехать. Он необыкновенно талантлив, необыкновенно. Я сразу сказала, как только его выслали из страны: «Он получит Нобелевскую, попомните моё слово!» – Она умолкает на секунду, глядяваясь куда-то вглубь, то ли себя, то ли пространство. – Обязательно, обязательно почитайте его стихи. И поверьте мне, он Нобелевскую свою получит, я вижу это. – Она снова задумывается. – Мне тут на днях одна женщина позвонила, стала со мной беседовать на темы экстрасенсорности. Мол, она чувствует и то, и это. Но об этом ведь нельзя так говорить, это нельзя так обсуждать. Это вообще нельзя обсуждать. Только с близкими, очень близкими. Вы понимаете, о чём я говорю? Вы понимаете, конечно, понимаете... А с елабугой... Она везде, она следует за поэтом... Мы ездили с Борисом на то место... где Марина... погибла. Погибла, да! – Она вдруг вспархивает со стула и движется куда-то вверх, или мне кажется, что наверх. Я уже ничего не могу определить, нарушены все пространственно-временные координаты.

Через какое-то время или какой-то проблеск света, или тени, она возвращается с засушенным лепестком в руках.

– С Цветаевского места, берите, это вам...

Я беру лепесток, разглядываю. Вот он какой, Сад-Лукоморье, весь в морщинках... Потом достаю стихи из папки, те самые, которые писались в тот бесконечный, неделимый День двенадцатый, и прошу разрешения почитать их ей вслух. Она кивает с улыбкой, и я читаю «Лунный путь» и «Стихи о Саде и Садовнике», которые писала, размышляя над её единственностью. Она моментально догадывается, в какой части Сада они были написаны. Она догадывается обо всём, будто даже не догадывается, а знает. Когда я заканчиваю чтение, она пристально смотрит на меня и говорит:

– Как ни удивительно, но вы ни на кого не похожи.

Потом она достаёт с полки «День Поэзии – 1984», извиняясь, что у неё нет нового сборника стихотворений, подписывает его – «Милая Верочка, примите мою любовь и дружбу!» – ставит дату, вкладывает лепесток между страницами и протягивает мне.

Дождь прекращается. Мне пора. Сегодня у неё поэтический вечер в музее Маяковского, а день был щедро отдан мне. Пора и честь знать. Я поднимаюсь с кресла.

– Верочка, а я сидела за вами, какое из кресел вы выберете, – с той же загадочной улыбкой говорит она.

Я молчу, выжидая.

– Кресло Бориса Пастернака, – оповещает она всё с той же озорной улыбкой. – Это очень хорошая примета, я загадала...

У неё счастливое лицо. Я немею. Что тут можно сказать? Хорошо, что она оповестила меня об этом после. Читать в кресле Бориса Пастернака стихи Белле Ахмадулиной – не слишком ли много для первого дня? Нет, не первого – тринадцатого. Да, именно тринадцатого: наша встреча состоялась 13 июля. Месяц убежал вперёд, оторвавшись от марта, а число было последовательным. Её замечание о счастливой примете касалось именно 13-го числа, которое оказалось «перекрытым» счастливой приметой пастернаковского кресла. Для меня же эта дата имела и ещё один – скрытый – смысл: 13 ноября, накануне совершеннолетия моего отца, фашисты разбомбили корабль, на котором он был практикантом, и в живых остались только два человека. Он был одним из счастливыхцев. Тринадцатое стало не только его вторым днём рождения, но и потенциально – моим.

– Ах, да, совсем забыла вас попросить об одолжении! – спохватывается она. – Когда вы вернётесь в Одессу, зайдите, пожалуйста, в библиотеку и попросите исправить опечатку в моём сборнике, вот на этой странице.

Она быстро пишет номер страницы и что следует

исправить. Я, разумеется, сделаю это первым делом. Войду в надменный, с мраморными полами вестибюль, подойду к окошечку, в котором живой портрет библиотекаря-женщины строго смотрит на проходящих, и вымолвлю:

– Вот тут Белла Ахмадулина попросила исправить опечатку в её сборнике.

Протяну листок с номерами страниц, написанными её рукой, а библиотекарь только поднимет треугольник бровей и ответит назидательным тоном:

– Не положено. Автор должен прислать нам письмо на бланке с печатью и подписью, а иначе это будет считаться порчей государственного имущества.

После этого она непоколебимо застынет в рамке окна, только очки будут посверкивать, как две большие опечатки, у неё на глазах.

– Не положено, – отрапортую я со вздохом в телефонную трубку.

– Боже мой, какая нелепость! – скажет она. И добавит задумчиво: – Верочка, поцелуйте море!

– Конечно.

С морем будет гораздо проще, чем с библиотекарем. Оно подставит свои хлюпающие губы и чмокнет меня в ответ.

Но это ещё впереди. А пока я обещаю позаботиться об опечатке. Она действительно глупая – вместо «сада» напечатано «ада»...

– Так я жду вас вечером в музее, – повторяет она уже на пороге.

– Но там же, наверное, билеты невозможно достать? – волнуюсь я.

– Что-нибудь придумаем, – обнадеживает она.

– Нас двое, – робко признаюсь я.

– Двое? А где ваш... спутник?

– Муж, – уточняю я.

– Муж? Где же он? Ведь был страшный ливень! Он, наверное, совершенно промок! Давайте его пригласим, пусть обсохнет. Ну как же так!

Она расстроена, хочет немедленно бежать вниз, разыскивать моего промокшего мужа, который из деликатности не согласился зайти к ней со мной вместе.

– Его чаем нужно напоить, чтобы он не простудился, – приговаривает она, направляясь со мной к лифту.

Я еле отговариваю её, убеждая, что, во-первых, у него есть зонт, а во-вторых, он просто хотел побродить по Москве, которую неплохо знает, а в-третьих...

В-третьих, мой муж сидел на ступеньках лестницы её парадного и терпеливо ждал окончания дождя и встречи. Мокрый зонт стекал в углу, наплавав уже порядочную лужицу. Хорошо, что она не видела. «И как в ней уживаются эта высота и кажущаяся отор-

ванность от всего обыденного с таким раскрытым всем болям и невзгодам постороннего мира сердцем?» – думаю, пока мы движемся с мужем в неясном мне направлении.

Вечером мы встречаемся у музея Маяковского. Билетов, разумеется, нет, мы с Вадимом стоим у дверей, как она и велела. Она появляется, окружённая сатурновыми кольцами поклонников, и направляется сразу к нам.

– У вас замечательный муж, – шепчет она мне на ухо. В роящемся зуде голосов её шёпот звучит как-то особенно веско. – Он редкий, – продолжает она. – Верочка, берегите его, не расставайтесь, будьте всегда вместе!

Рядом с ней – Борис Мессерер, её замечательный и редкий муж. Это уже то, что я моментально отмечаю, взглянув на него, но, в отличие от неё, ничего не говорю. Да этого и не нужно. Она читает мои мысли и согласно кивает: всё, мол, так.

Мы проходим в зал. Вернее, только мы и проходим. Все остальные проталкиваются, желая быть поближе к ней. Пока мы идём по вестибюлю и лестнице, я ощущаю какую-то странность, которую поначалу не могу определить. Действительно, что-то необычное, даже как бы сюрреалистическое было в нашем шествии. Только спустя несколько секунд до меня доходит, в чём дело: это не мы идём за ней, это она как бы сопровождает нас и при этом громкогласно представляет меня налево и направо своим друзьям и организаторам вечера, которые отгородили нас от следующих за ней тесным полукружьем зрителей. От смущения не знаю, куда деваться. Здоровуюсь с людьми, которые, наверное, принимают меня за кого-то, кем я не была, а она продолжает представлять меня, будто вечер не её, а мой.

Потом она торжественно усаживает нас в первом ряду, который держат «для своих», и наступают Сад...

*Вот участь совершенной красоты:
чуть брезжить, быть отсутствия на грани.
А прочего всего – грубы черты.
Звезда взошла не как всегда, а ране.*

*О День, ты – крах или канун любви
к тебе, о День? Уж видно мне и слышно,
как блещет в небе ровно пол-луны:
всё – в меру, без изъяна, без излишка.*

Её торжественность, даже какая-то ритуальность, предшествовавшая чтению, была на самом деле уже частью того предстоящего действия, которое было «предстоящим» только для публики, но никогда не прекращалось в ней самой. Она была естествен-

на на своей возвышенной сцене, как зритель был естествен в своём кресле. Интонации её в жизни были теми же, что на сцене и бумаге. И безбрежность в любви и дружбе, так шокировавшая и смутившая меня поначалу (чем я заслужила такое?), была тоже естественной для неё. Ей был чужд элитарный снобизм, и элиты она не признавала, в особенности когда это касалось талантов. Она была готова служить таланту, самоотверженно, искренне, независимо от того, принадлежал он к известному ей кругу или нет. Даже наоборот. К поэтам, идущим к ней «по знакомству», она относилась особенно придирчиво и не раз высказывала колкости в адрес детей литераторов, поступивших по связям в литературный институт, а потом пытавшихся проталкиваться путём родительских связей. Она считала это одним из серьёзных нарушений творческой природы и вытравливанием творческого потенциала культуры.

– На литературных приёмах, выученных в вузе, поэзию не создашь, – говорила она мне, когда мы встретились спустя годы в Филадельфии, куда я эмигрировала с семьёй во время перестройки. – И природу не обманешь. Она отомстит, когда посыплются книги этих искусственно выращенных статистов, которые, как в анекдоте, будут писать прямо и между строк одно и то же: «Что говорить, когда говорить нечего!» Это порочно. За пороки отцов будет расплачиваться культура.

А вечер продолжается. Впечатление, что в зале отключили всемирное тяготение и все парят, наслаждаясь и не до конца понимая, что происходит.

Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.

– Вам сколько лет? – Ответила: – Осьмнадцать. – Многоугольник скул, локтей, колен. Надменность, угловатость и косматость.

Все чудно в ней: и доблесть худобы, и рыцарский какой-то блеск во взгляде, и смуглый лоб... Я знаю эти лбы: ночь напролет при лампе и тетради.

По окончании вечера подходит к ней какой-то элегантный молодой человек, представляется, назвав кого-то из общих знакомых, и, выдав залп парадных славословий в её адрес, галантно склоняется над её запястьем. «Вот это да!» – думаю, разглядывая его из затемнённого кресла у сцены. А он так же галантно засовывает руку в портфель и вытаскивает букет бумаг с отпечатанными стихами. Мне издали видны длинные аккуратные строфы, рельсами бегущие по листам. «Этот – настоящий, не то что я, самозванка», – думаю с лёгкой завистью. Она вдруг вспыхивает и говорит ему что-то быстро с еле сдержанным него-

дованием в голосе. Слов я не разбираю, но поэт быстро отходит, и его сменяет Борис Мессерер, наблюдавший эту картину поодаль. Он деликатно кладёт ей руку на плечо и что-то шепчет на ухо. Она резко оборачивается в мою сторону и улыбается уже знакомой мне улыбкой.

– Верочка, Вадим, идите сюда, почему вы там сидите? Всё уже закончено. Мы сейчас пойдём вниз, там все наши собираются. Вы не спешите никуда?

У нас как раз была назначена встреча с родными Вадима, и я ей об этом честно сказала. Кроме того, войти с ней в зал, полный её друзей, которым нужно будет снова представляться, было для меня тяжёлым испытанием после такого дня. Я должна была унести своё тринадцатое чудо таким, каким оно было мне подарено в чистом виде, без примеси банкета. Она тут же это поняла.

– Ну что ж, раз так, то завтра непременно приходите к нам вдвоём с Вадимом. Договорились?

– Завтра мы уезжаем. У нас билеты на дневной поезд... Мы только на три дня с дорогой...

– Вот как... А вы утром забегите ко мне попрощаться, ладно?

– Непременно забежим. Спасибо!

Мы прощаемся, благодарим за вечер.

– Видели того поэта? – лукаво спрашивает она, пока мы спускаемся по лестнице.

Я киваю.

– Борис сказал мне, чтобы я так не сердилась, а то вы подумаете, что я какая-то бармалейка. – Смех вырывается на свободу, и мы все хохочем, снимая напряжение. – Терпеть не могу, когда ходят ко мне по знакомству, – говорит она, всё ещё храня смех в глазах. – Стихи свои суют, да ещё и на моём вечере! Небось, он и отсидел с одной только мыслью, чтоб стихи мне свои всучить. Вот вы бы так никогда не поступили.

Ну откуда же она это знает?

– Знаю, – отвечает на мои мысли. – Я много чего знаю и вижу.

Внизу её уже ждут, жестами показывая, что пора, мол, все уже в сборе.

– Белла, ну идём же, все давно ждут! – кричит ей какая-то дама.

Мы прощаемся, теперь уже окончательно.

На следующий день, как условились, едем к ней. Поднимаемся на скрипучем лифте, прямо на олимп, а она уже встречает нас на пороге, сияющая.

– Проходите.

Мы проходим, но присаживаться нет времени.

– Вы торопитесь, я знаю. Вот, это вам.

Она протягивает мне листок – письмо, отпечатанное на машинке.

– Что это?

– Предисловие к вашей будущей книге стихов.

Вот это да... Об этом ведь и речи не было! Я беру, совершенно ошеломлённая, не зная, что сказать.

– Читайте, тут немного.

Беру листок из её рук, читаю... Поначалу трудно собраться с мыслями, буквы никак не складываются в слова. Наконец-то прорываюсь через их лес к первому предложению.

«Я не скучаю по своей молодости и радуюсь молодости других – мне не хотелось бы провиниться перед ними».

– Я тут всё о себе да о себе, – говорит, поглядывая на меня с усмешкой.

«Время, когда начиналась моя литературная жизнь, обнаруживало и поощряло новые имена и предавало их быстрой и шумной огласке. Кроме общих обстоятельств времени, мне сопутствовала пылкая доброжелательность старших маститых коллег. Энергия этой безукоризненной благосклонности и хранила, и опекала меня, как бы для своей надобности добывая мои первые успехи. Лишь много позже я поняла, что видимая пошла судьба на самом деле была важным и суровым испытанием. Меня любили липы Тверского бульвара, многие люди взяли на себя труд сочувствия и соучастия, но некая строгая неусыпная звезда следила за мною с тревогой и уже сожалением – хорошо, что я успела заметить и понять этот заботливый укоряющий взор».

Она испытующе смотрит на меня, пока я медленно вчитываюсь. Понимаю почти сразу – это её заповедь мне на весь мой дальнейший путь. Всё начинается с заповедей. Без заповедей не двинуться в правильном направлении. Она делится со мной опытом, от которого как бы предостерегает меня в самом начале.

Читаю дальше. «Тех, кто щедро и расточительно помогал мне, да и всем, кто попадался на добрые их глаза, – давно нет на свете. Сумею ли я посмотреть их любовным и охраняющим взглядом на тех, кто молод, на Веру Зубареву, например?»

Останавливаюсь на этом вопросе. Почему она сомневается в том, что несомненно? Если написала это письмо, значит, может посмотреть на молодых «любовным и охраняющим взглядом»? Наверное, этот вопрос из её собственного прошлого, когда она была такая, как я, и ей приходилось сталкиваться с вещами, которые и заставили задуматься над всем этим. В тот момент я ещё до конца не понимала, до какой степени она распротёрла надо мной свои крылья ангела-хранителя и как решительно собиралась воплотить свою мечту увидеть мои произведения опубликованными. Я совершенно не предполагала, что спустя какое-то время уже в Одессе начну

получать звонки с непонятными поздравлениями и на вопрос, с чем поздравляют, услышу:

– Как, разве ты не знаешь? Твои стихи вышли в «Смене» с предисловием Ахмадулиной!

Да, в то время как в Одессе будет готовиться сборник с её предисловием, она, ничего не говоря мне, очевидно, чтоб сделать сюрприз, собственноручно отнесёт мои стихи в редакцию.

Я, разумеется, немедленно звоню ей.

– Белла Ахатовна, я всё знаю, мне сказали... Публикации ещё не видела, знаю только, что это «Стихи о волке». Спасибо! Я... я ничего подобного не ожидала.

– Ну что вы, Верочка, это пустяки. Стихи хорошие, это важно.

В этом – вся она. Достовернее, чем её поступки, о ней не сможет рассказать никто.

Но это ещё только в будущем. Пока же я продолжаю читать её письмо, всё отчётливее понимая, что адресовано оно по большому счёту мне, а не издателю.

«Сначала я увидела её стихи, воображение соотносило их с морем и побережьем, с бликами, с хрупким чередованием блеска и тени. Прихотливый, независимый и несомненно ранимый мир открылся мне, явилась мысль о возможном обидчике воздуха и моря».

Мысль об «обидчике» удивила меня поначалу, но, как я узнала уже позже, она была защитницей по природе своей и самоотверженно заступалась за всех угнетённых и обиженных, включая и животных. Азарий Мессерер, например, рассказал мне как-то, что она взяла вину их кота на себя, чтобы его не наказывали за то, что тот непроказничал. Кот по кличке Ньюар любил поохотиться на мышей ночью, но дверь на террасу была покрыта сеткой, и как-то он всё же разорвал сетку, чтобы убежать на охоту. Утром, когда дырку обнаружили, «Белла заявила, что это она вышла покурить и не видела сетки на двери, пройдя сквозь нее», вспоминает Азарий. Она выгораживала этого провинившегося кота так самозабвенно и истово, что всем стало смешно, и кота простили. Потом для него заказали специальное окошко в сетке, чтобы он мог свободно выходить из дому. «Она очень полюбила этого кота и часто спрашивала о нем», – писал мне Азарий, и я вдруг вспомнила, как, уже будучи в гостях в Америке, в одном из наших разговоров она упомянула, что ощущала с детства, что была рождена для миссии защитницы.

– Мне в детстве всегда было жаль негров и бездомных собак, и когда я читала, как угнетают одних и издеваются над другими, то сердце моё

просто разрывалось на части, – рассказывала она мне во время прогулки в Брин Атене. – Да, так переживала за них, что однажды всё же не выдержала и написала стихи в «Пионерскую правду» об угнетённых неграх. А редактор мне ответила, что у меня доброе сердце, но, кроме негров, есть ещё много объектов для жалости...

Взросление не изменило, а даже, наоборот, развило это защитничество в ней. Она писала письма многим политическим деятелям, заступаясь и за Синявского, и за Солженицына, и за Сахарова, и за Параджанова... Она рассказывала мне, как продумывала стиль каждого письма-прошения в правительство, в зависимости от того, кому и что писала, чтобы не испортить дела. Она придавала стилю не меньше значения, чем сути письма, поскольку от стиля иной раз зависела судьба того, о ком составлялось прошение. Она оттачивала свой поэтический стиль, чтобы не только услаждать слушателей с подмостков, но и искусно фехтовать им во имя спасения ближних за кулисами. Её охранные грамоты, которые она щедро и смело писала, даровали её «подзащитным» жизнь и свободу.

Но тогда, в мой первый визит к ней, я обо всём этом не подозревала – многое было скрыто от нас, живущих в провинциях. Я пришла к ней из полудетского неведения, за мной тянулся светлый Пушкин и город с «златоглавыми церквями», на побережье которого плескались волны. Её же Лукоморье было куда более тревожным, и девятых валов там было не счесть. Но она, как и мой отец, знала, как вести свой корабль в шторма.

«И сама милая Вера очень понравилась мне! Я верю, что она слышит голос своей звезды, предвещающей удачу, но оберегающей от суеты,

вздора, поспешности. Её стихи – изъявление ясной и суверенной души, грациозно существующей в осознанном пространстве».

Голос звезды, оберегающей от суеты, вздора, поспешности... Она словно прочитала напутствие, которое отец написал мне на моей первой тетради стихов. Оно заканчивалось следующими строчками: «Услышь, чего никто не слышит». «Она слышит голос своей звезды», – будто отвечая моему отцу, пишет она. Нет, это не обо мне тогдашней и не обо мне сегодняшней. Это о том, как я должна идти свой путь, не предавая голоса своей звезды. «Не дай мне Бог бесстыдства пред листом / бумаги, беззащитной предо мною...»

Напутствие заканчивалось её мечтой о выходе в свет моей первой книги.

«Я мечтаю и надеюсь, что у Веры Зубаревой выйдет книга. Чудесно, что это будет в Одессе! Само имя города кажется мне неопровержимо счастливой приметой».

Я держу драгоценный листок, в котором очерчен весь мой путь – от заповеди до благословения. Впереди – годы жизни, труда и борьбы. Годы становления.

– Теперь я должна всё это оправдать, – отвечаю на её немой вопрос о том, что я думаю по поводу предисловия.

Она обнимает меня на прощание, и я уношу с собой её свет навсегда.

Филадельфия, 2011

□

Вера ЗУБАРЕВА –

поэт, прозаик, литературовед,

доктор филологических наук Пенсильванского университета.

Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики.

Проживает в США.

Главный редактор журнала «Гостиняя»,

основатель и президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА).

Лауреат Муниципальной премии им. Паустовского и других международных литературных премий.

Первый сборник стихотворений вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной.

Пишет и публикуется на русском и английском языках.

Её произведения также выходят в переводах в США и Европе.

